

**Николай Иванович КАРЕЕВ**

## **ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ МИШЛЕ**

### **Фрагменты книги «Историки Французской революции»**

#### **Т.1. Французские историки первой половины XIX века**

По изданию: Л., «Колос». 1924

Веб-публикация: Ната Мишлетистка и редакторы сайтов [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#) ©

Жюль Мишле принадлежал к одному поколению с Тьером и [Минье](#), родившись, как и оба они, в самом конце XVIII века (1798). Свое происхождение он сам называл «крестьянским», хотя, в сущности, отец его был типографщиком, разоренным строгими мерами Наполеона против печати. Во всяком случае, Мишле вырос в бедности и в сопряженных с нею лишениях и в детстве занимался физическим трудом. Отсюда его тяготение к народу, связь свою с которым он чувствовал всегда. Первым его наставником был старый республиканец, когда-то школьный учитель, потом торговец книгами, «внушивший ему взгляд на революцию, как на событие, принесшее много добра французскому народу. Получив среднее образование, Мишле, имея от роду 23 года, сделался учителем истории в одном из парижских коллежей, хотя в то время больше интересовался философией и древней литературой, нежели историей. Интерес к философии не покидал его и на кафедре в знаменитой Нормальной Школе, где он начал преподавать в 1827 году, опять таки главным образом историю, которою занимался, однако, с философской точки зрения, как «драмою борьбы свободы с фатализмом». Июльская революция оказала влияние на его судьбу тем, что доставила ему место директора в Национальном архиве: это то и направило его на специальные занятия отечественной историей. В 1833-1843 годах вышли шесть томов его «Истории Франции», прославившие его, как основательного ученого и блестящего писателя. Временно Мишле замещал Гизо в Сорбонне, а в 1838 году стал читать лекции в College de France перед большой публикой, подвижной и пылкой, требовавшей от профессора широких взглядов и красноречивого слова.

В College de France Мишле очень сошелся с читавшими там же лекции Мицкевичем по славянским литературам и Кинэ по южнороманским литературам, с тем самым Кинэ, который потом, уже в шестидесятых годах, тоже написал книгу о революции. Все три друга поставили себе задачу «создавать души», воспитывая молодежь в гуманных и прогрессивных идеях. В сороковых годах июльская монархия делалась всё реакционнее не только в политическом, но и в культурном смысле. Мишле принял участие в демократической и в антиклерикальной оппозиции. В первом отношении он как бы возродил в себе культ народа, характеризующий Руссо, во втором лозунг Вольтера «*écrasez l'infame*». Сам будучи деистом, Мишле видел в католицизме врага духовной свободы и союзника политического деспотизма. В начале сороковых годов он и Кинэ, по предварительному уговору, прочитали по курсу о иезуитах. Вышедший в свет курс Мишле под заглавием «*Les Jesuites*» (1843) имел колоссальный успех, а в дополнение к этой книге он издал другую «Священник, женщина и семья» (1845), также антиклерикального содержания. Свои демократические принципы полнее всего Мишле изложил вскоре после этого в книжке «*Le Peuple*» (1846), где выступил защитником народной массы, преимущественно крестьянской, изобразив страдания, стремления и надежды рабочего люда, любовь французского крестьянина к земле, в своему маленькому хозяйству, далекие, однако, от каких бы то ни было социалистических и коммунистических идей. Этот «народник», как назвал его [проф.Герье](#) был большим индивидуалистом, а в то же время противником классовой борьбы, отстаивавшим идею однородности интересов нации против привилегий.

Лучшим государственным устройством Мишле считал демократическую республику, но никоим образом не в ее якобинской редакции, вызывавшей в нем непреодолимую антипатию, какую он чувствовал к каким бы то ни было террористическим средствам. Мишле до самой крайней степени идеализировал народ. В народе, учил он, живет высшая непосредственная правда. Народу он противопоставал при этом не столько буржуазию, как отличный от него общественный класс, сколько слой интеллигенции, образованного общества. Он думал, что от соприкосновения с народом культурный слой только может морализироваться, и вместе с тем требовал, чтобы образованные люди несли в народ свет знания.

В буржуазии сильна рефлексия, в народной массе инстинкт, благодаря чему народ, несмотря на беспорядочность и пороки, происходящие от беспомощности и бедности, носит в себе лучшие качества первобытной невинности, богатство чувств, доброту сердца и способность к самопожертвованию. Так как всякий инстинкт есть необходимое побуждение к действию, то опять таки, по убеждению Мишле, только в народе живет настоящая способность к действию: образованные люди растрачивают всю свою энергию на рассуждения и разговоры, народ же скуп на слова, но зато, когда нужно, умеет действовать. В этом же качестве народа Мишле видел крепкий якорь спасения, главную основу лучшего будущего Франции. Этот же самый, так идеально понятый народ и является главным героем в книге о французской революции, написанной Мишле.

Первый том этого труда Мишле издал в 1847 году, т.е. перед самой февральской революцией, последний - в 1853, следовательно уже тогда, когда после кратковременного периода второй республики Франция во второй раз сделалась империей. Декабрьский переворот 1851 года лишил Мишле кафедры, занимавшееся им тридцать лет в *College de France*, а за отказ принести присягу на верность новому владыке он потерял и свое место в Национальном архиве, где работал более двадцати лет.

Между последующими его работами были две по истории революции: «*Les femmes de la revolution*» и «*Les soldats de la revolution*», но главным его трудом сделалось окончание «Истории Франции» (1867 год), причем довел он ее до 1789 года. Наконец, в самом конце жизни Мишле предпринял «Историю XIX века», доведенную им только до 1815 года.

Таким образом, Мишле был профессиональным историком, уже много поработавшим над изучением прошлого Франции, архивным деятелем, который имел легчайший доступ к неизданным документам; притом историком с склонностью к философскому освещению изучавшихся им эпох и соединившим последнее с публицистической отзывчивостью на злобы дня. Его политическая позиция определяется его республиканским и антиклерикальным демократизмом, проповедь которого он соединял с проповедью социальной любви, долга образованного класса перед народом, веры в свое отечество как страну прогресса, справедливости и свободы. Любовь к народу должна была, по его убеждению, устранить «тот общественный разрыв», который существует между верхними слоями и народной массой. Такой человек не мог быть ни в каком случае сторонником насилия и террора, идеализация же народа подсказывала ему желание снимать с народа вину в злодеяниях эпохи, чтобы переложить ее на деятелей революции из образованного класса. Нужно прибавить, что в то время Мишле далеко не был одиноким в литературной идеализации народа.

В личном характере Мишле при всем том наблюдалась своего рода «детскость». Его необыкновенная впечатлительность, чувство жалости к униженным и оскорбленным, сентиментальная любовь к человечеству, вообще вся очень развитая эмоциональная сторона его психики отражались на его исторических трудах до такой степени, что Тэн как бы отказывался видеть в нем историка, скорее считая его поэтом, даже одним из величайших поэтов, почему и о его истории отзывался как о «лирической эпопее Франции». Действительно, у Мишле бывает много лиризма, а часто его чувство облекается и в совершенно риторические формы, что делает крайне трудным переводить многие места его сочинений на иностранные языки. Вследствие этого можно говорить о недостатке научности в его «Истории французской революции», особенно когда Мишле начинает философствовать. У него не было того объективного спокойствия, с каким передавали события революции Тьер или Минье.

Труд о революции, написанный в тако, субъективнов духе и приподнятом тоне, не мог не производить сильного впечатления на читателей. У Мишле было и много поклонников, среди которых одним из последних был Жорес, сам также автор большой истории революции, признающий, что Мишле был одним из его вдохновителей.

Мы еще увидим, что Бюшез в своей «Парламентской истории французской революции» отождествлял революцию с христианством, будто бы нашедшим в революции свое завершение. Бюшез даже прямо признавал себя католиком, противником реформации и просвещения XVIII века. Мишле не мог оставить такую точку зрения без возражения, при том антиклерикальном направлении, какое приняла его литературная деятельность в сороковых годах. Он прямо ставит христианство и революцию в резкую противоположность между собою. «Я, - говорит он в самом начале своего труда, - я определяю революцию как пришествие закона, воскресение права, воздействие справедливости, но, спрашивается, совпадает ли или противоречит тот закон, который нам явился в революции, религиозному закону, ей предшествовавшему? Другими словами, была ли революция христианскою или антихристианскою? Исторически и логически этот вопрос нужно поставить раньше всех других. Он касается, он даже собою проникает те вопросы, которые считаются исключительно политическими. Все учреждения гражданского порядка, какие застала революция, или вытекали из христианства, или были созданы по его образцам, получали его санкцию» (I, 49). Для Мишле христианство и революция - «два великие фактора, два принципа, два действующих лица», которые он видит постоянно на великой исторической сцене (50). «Многие выдающиеся умы, - продолжает он, - в похвальном стремлении к успокоению и миру стали недавно утверждать, что революция есть завершение христианства, что она имела своею целью продолжить его и осуществить на деле все его обещания. Если это утверждение верно, то XVIII век, философы,

предшественники и вожди революции ошибались и делали совсем не то, что хотели делать. Вообще у них была другая цель, отнюдь не завершение христианства» (54). Мишле, однако, понимает их отношения как более сложные. «Революция, - говорит он, - продолжает христианство и находится с ним в противоречии. Она в одно и то же время есть наследница и противница. В том, что они заключают в себе общего и человеческого, именно в чувстве оба принципа сходятся. В том, что составляет обособленную жизнь, в основной идее каждого из них, они находятся в противоречии и во вражде. Они сходятся в чувстве человеческого братства. Это чувство, родившееся вместе с человеком, вместе с миром, присущее каждому обществу, тем не менее было расширено и углублено христианством. В свою очередь революция, дочь христианства, проповедовала его (это чувство) всем, всякому народу, всякой религии, существующим под солнцем. В этом все сходство. А вот и различие. Революция основывает братство на любви человека к человеку, на взаимном долге, на праве, на справедливости. Это единственная основа, и никакой другой не нужно. Для этого бесспорного принципа революция не искала сомнительной исторической основы. Она не выводила братства из общего родства, из преемственности поколений, которая от отцов к детям вместе с кровью передает солидарность в преступлении» (56). Здесь Мишле имеет в виду учение о первородном грехе, тяготеющем над человечеством, и входит в довольно длинный разбор этого христианского догмата. Вместе с этим он говорит о догмате благодати, сопоставляя его с практикой старой монархии, именно сближая то и другое в том, что и здесь, и там мы видим привилегии немногих набранных среди массы отверженных: так подводятся у Мишле под одну категорию догмат о первородном грехе, следствия которого тяготят над отцами и детьми, и наследственность общественных положений в сословном строе старого порядка. В этих сопоставлениях много произвольного, много прямых натяжек, как было их много и у опровергавшегося им Бюшеза. Например, двоякое значение слова «la grace» в смысле богословского понятия благодати, даруемой богом, и в житейском понятии милости, оказываемой королем, дает ему основание для сближения христианства как религии, с монархией как формой правления. Божественная монархия и монархия человеческая, говорит он, управляют только для своих избранных. «Где человеку найти убежище? На небе царствует одна благодать (la grace), а здесь одна милость (la faveur)... Революция есть нечто иное, как запоздалая реакция справедливости против правления милости (т.е. произвола, как ее понимает Мишле), и против религии благодати» (62).

Эти соображения, занимающие все начало «введения», могут служить характеристикой той философии, которую Мишле применяет к пониманию и оценке революции. Здесь берутся не факты, не реальные отношения, а принципы, абстрактные формулы, причем понимание и христианства, и революции основывается не на всей сложности обоих явлений, а на сведении к некоторым идейным основам, из которых одни отвергают вероисповедный субъективизм Мишле, а другие соответствуют его субъективизму политическому. В качестве деиста и противника католического клерикализма он, так сказать, не приемлет христианства, а в качестве демократа и противника монархии, он, наоборот, приемлет революцию, которую и старается отмежевать от христианства, чтобы опровергнуть взгляд Бюшеза, находивший последователей в обществе.

Но тот же Бюшез, как было упомянуто и как об этом подробнее будет говориться впереди, отождествлял революцию с якобинизмом. Это направление революции для Мишле было совершенно неприемлемо. Вообще, признавая всю внутреннюю правоту за народом, противопоставляя ему политические партии, руководимые образованными людьми (lettres), считая, что все доброе в революции шло от народа, все дурное - от отдельных честолюбцев, этих марионеток, вынесенных наверх движением народных волн, Мишле не мог быть вообще безусловным партизаном каких бы то ни было, говоря по-современному, интеллигентских направлений революции, менее всего мог быть сам якобинцем в душе. Принцип братства родит в его глазах христианство и революцию, но как раз то братство, которое проповедовали и практиковали якобинцы, глубоко претило всей натуре Мишле.

«Братство, братство! - писал он в предисловии к первому изданию своего труда, о революции. - Еще мало только повторять это слово. Нужно, чтобы народ видел у нас братское сердце, и только тогда он пойдет за нами. Победа будет за братством любви, а не за братством гильотины... Братство, или смерть! - восклицали террористы, но это было братство рабов. Зачем еще в виде жестокой насмешки присоединять к этому священное имя свободы? Братья, бегущие друг от друга, бледнеющие один при виде другого, протягивающие и отталкивающие мертвенную холодную руку!.. Ужасное, отвратительное зрелище!.. Если что-либо должно быть свободным, так это - братское чувство. Одна философия, основанная в последнем веке, сделала возможным братство. Философия нашла человека без права как нечто не существующее, затерянное в религиозной и политической системе, основанной на произволе. И она сказала: сотворим человека, и да будет он через свободу. Едва созданный, он стал любить. И опять-таки посредством свободы и наше время, проснувшись от долгого сна, чтобы вернуться к своей истинной традиции, будет в состоянии, в свою очередь, продолжать великое дело. Оно не напишет в своем законе: стань моим братом или умри! Но искусно действуя на лучшие чувства человеческой души, оно сделает так, что все, не теряя напрасно слов, сделаются братьями» (37).

Из приведенных отрывков можно видеть, как у Мишле расширился вопрос о революции включением в него религиозного вопроса о братстве. У Тьера и Минье на первом плане одна политика, одни принципы свободы и равенства, но и не у одного Мишле были привлечены к рассмотрению взаимные отношения христианства к французской революции с третьим членом революционного девиза: «свобода; равенство и братство», потому что, всем этим заняты были и Бюшез, и Луи Блан. Мишле, однако, расходится с ними. В предисловии к первому изданию он упрекал «партию свободы» за последнее время в том, что в ней явилась мысль, будто враги религиозной свободы могут стать друзьями свободы политической. «Пустые схоластические дистинкции, затмившие ее зрение. Свобода, это - свобода» (34-35). Мы еще увидим, что у тогдашних социалистических историков революции индивидуальная свобода была объявлена принципом противообщественным.

Вот все данные, биографические и психологические, чтобы понять, как должен был Мишле отнестись к революции. Остается еще сказать, как он работал. «Моя книга, - писал он в предисловии к изданию 1868 года, - родилась в архивах, я писал ее шесть лет (1845-1850) в том центральном складе, где был начальником два года, и окончил книгу в Нантском архиве, где воспользовался также драгоценными коллекциями» (13). Далее он говорит, что ему постоянно приходилось поправлять «Монитор», за которым слишком много следовали Тьер, Бюшез, Ламартин, Луи Блан: как-никак, эта газета редактировалась владыками дня. Кроме Национального архива в Париже, Мишле обращался еще в архивы Ратуши и префектуры полиции. В последнем он имел в руках протоколы [48 парижских секций](#), сгоревшие, как известно, в 1871 году. К сожалению, Мишле чрезвычайно редко цитировал свои источники, а когда и делал ссылки, то не приводил тех шифров, под которыми те или другие документы значатся в каталогах и хранятся в картонках и папках. Автор в предисловии 1868 года оправдывался от упреков в этом тем, что по датам событий легко справиться в источниках, но это совершенно неверно. Самому ему, столько лет ежедневно занимавшемуся в архиве, бывшему распорядителем в одной и наиболее важной его части, конечно, нетрудно было разбираться во всех этих регистрах, картонках, связках, но не тем, которые приходили бы со стороны. Во всяком случае, в основу труда Мишле положены первоисточники, которыми другие не пользовались. Луи Блан, начавший работать над историей революции в одно время с Мишле, окончил свой труд девятью годами после него (1862), но, как известно, с 1848 года не жил в Париже, а работал в Лондоне, где в руках имел только печатный материал.

В этом же предисловии 1868 года Мишле сообщает о тех исторических обстоятельствах, среди которых ему пришлось работать после революции 1848 г., о своих тогдашних настроениях. Конечно, пережитое не прошло бесследно для историка. В 1848 году люди стали как бы переживать и самую революцию 1789 года. Тогда многие отождествляли себя с тенями прошлого: кто был Мирабо, Верньо, Дантон, а кто Робеспьер (стр.4). «Мы, - говорит еще Мишле, - без сомнения сохраняем и теперь свои симпатии к тому или другому герою революции, но мы лучше в них судим. Мы их видим всех вместе и протягивающими друг к другу руки, отнюдь не в оппозиции одних с другими» (5).

Весь труд Мишле о революции разделяется на введение и на двадцать одну книгу, из которых первая начинается с выборов 1789 года, последняя кончается падением Робеспьера. Во вступительной главе Мишле говорит о средневековой религии и о старинной монархии, и в каком духе, мы видели. Пять десятков маленьких страничек (79-129), на которых дается характеристика дореволюционной Франции, наполнены слишком общим содержанием, касающимся не только политики монархии, начиная с Людовика XIV, но и писателей XVIII века, с постоянными лирическими отступлениями и повторениями одних и тех же мыслей о революции. Мишле не последовал примеру тех, которые рассказывали, хотя бы даже вкратце, «прелиминарии» революции. Он начинает прямо с созыва Генеральных Штатов, этой, как он выражается, «настоящей эры рождения народа», да и о выборах в штаты говорит очень коротко, едва упоминая о наказаниях и преувеличивая единодушие нации. Он говорит об «однообразии наказов», о том, что «все хотели одного и того же», об «одном согласии без оговорок»: «с одной стороны была нация, с другой привилегированные, а в нации тогда еще не было ни малейшего различия (aucune distinction possible) между народом и буржуазией. Обнаружилось одно только различие между образованными и необразованными; одни первые говорили и писали, но передавали мысли всех» (137). Мишле и здесь не останавливается на подробностях, а спешит перейти к моменту, когда «запоздавшая справедливость», наконец, начала действовать. У него революция связывается с прошлым Франции посредством более чисто литературного, чем научного приема. Но по примеру своих предшественников он не идет далее термидорского переворота. Рассказав о казни Робеспьера и других в один день с ним, Мишле продолжает: «вздыхнем, не будем смотреть. Довлеет днечи злоба его. Мы не будем рассказывать, что за этим последовало. Наступила слепая реакция. Ужасное и смешное борются равными силами. Началась эта позорная комедия, выгодные убийства во имя человечности, мщение чувствительных людей, убивающих патриотов и продолжающих их дело, покупка национальных имуществ. Черная банда горячими слезами оплакивала родных, которых у нее никогда не было, резала своих конкурентов и нахрапом добывала декреты, чтобы покупать при закрытых дверях. Париж опять стал веселиться. Была, правда, голодовка, но Пале-Рояль был полон, на спектаклях были толпы народа.

Потом открылись эти балы жертв, в которых распутство выставляло в оргиях свой фальшивый траур. По этой дороге мы дошли до громадной могилы, в которую Франция положила пять миллионов человек» (IX, 350-951). Революция кончилась, разразилась реакция (la reaction eclate). Ее историю Мишле обещает рассказать отдельно. Уже было упомянуто, что перед смертью он предпринял было большую историю XIX века, которую начал с эпохи директории, так что она прямо примкнула к труду о революции.

В небольшом послесловии в конце IX тома, Мишле почувствовал потребность поделиться с читателем тем мнением, какое он имеет сам о своей книге, «относясь к ней хладнокровно». «Всякая история революции, - читаем мы здесь, - до сих пор была существенным образом монархической. (Одна по отношению к Людовику XVI, другая - к Робеспьеру). Моя первая республиканская история, разбившая идолов и богов. С первой страницы и до последней у нее один только герой: народ». Этот герой рисуется у Мишле любвеобильным, великодушным, справедливым, невиноватым в тех злодеяниях, ответственность за которые Мишле возлагает на честолюбцев, думавших руководить движениями и подчинявших его своим ложным теориям.

События от **5 мая 1789 года** по **27-28 июля 1794 года** рассказываются у Мишле подробно, рельефно, колоритно, с темпераментом зрителя, задетого зрелищем за живое. Временами, конечно, на сцене мы видим толпу, бушующую и казнящую своих недругов. Фулон и Бертье предаются смерти. «Вампиры старого порядка, - замечает Мишле по этому поводу, - принесли столько зла Франции, наделали его еще больше после своей смерти. Казнь этих людей как бы реабилитировала их, виселица сделалась их апофеозом. Они стали интересными жертвами, мучениками монархии, легенда о них пойдет, разрастаясь патетическими фикциями. Берк сейчас их канонизирует и отправится молиться на их гробах» (I, 294). Парижские насилия поставили Национальное Собрание в очень трудное положение: нельзя было оставить их безнаказанными, но нельзя было поручить королю, т.е., значит королеве, двору «меч, который народ разбил в их руках». В обоих случаях произвол и «так хочу» восстанавливались в пользу старой королевской власти или в пользу новой уличной (la royauté de la rue). Разрушали ненавистный символ произвола, Бастилию, но возникал новый в виде фонаря. Что было делать? (295). Если бы королю поручили подавить беспорядки, под которыми можно было разуть многое, власть, конечно, прежде всего, наказала бы за величайший из беспорядков, взятие Бастилии (296). Собранию предлагали организовать муниципальный суд, который успокоил бы народ, но оно отложило это до будущего времени, а пока советовало народу иметь доверие к королю. В самый этот момент возникали новые опасности. «Собрание, - говорит Мишле, - было неправое; народ был прав» (297). Старый порядок «еще не был мертвецом. Он получил сильный удар, был ранен; морально он умер, физически он был еще жив и мог воскреснуть. Неужели привидение покажется? в этом был весь вопрос, который интересовал народ, и который смущал его воображение... Здравый смысл выразился здесь в тысяче форм народных суеверий» (298). «Воображение всех было в самом деле больно этой Бастилией» (299). Мишле в живых красках передает все толки, слухи, страхи, соединенные с ненавистью, боязнью, любопытством, а тут еще голодовка усиливала нервность населения. Он прекрасно объясняет психологию народных волнений и происхождение мстительных чувств в населении летом 1789 года, но нигде не приводит доказательств своего тезиса: «L'Assemblée avait eu tort: le peuple avait eu raison». Кстати, какими лирическими тирадами пересыпает Мишле свой рассказ, можно видеть из следующего. По поводу крестьянских волнений 1789 года он воображает феодальную башню, которая «проклиналась каждое утро, каждый вечер тысячу лет, может быть, и больше. Пришел день, когда она упала. Как ты медлил придти, великий день!.. - восклицает Мишле. - Сколько времени наши отцы тебя ждали, мечтали о тебе... Одна надежда, что их сыновья тебя увидят, могла их поддерживать; без этого они не хотели бы жить и умерли бы от горя. Я сам, их товарищ, работающий рядом с ними на ниве истории, позволившей мне пережить скорбное средневековье и все-таки от этого не умереть, неужели я вижу тебя, о прекрасный день, первый день избавления?.. Я жил, чтобы о тебе рассказать» (313). В таком же повышенном тоне повествует Мишле и о **ночи 4 Августа**. Он верит в то, что здесь все было одним благородным порывом, что эта «чудесная ночь, рассеявшая бесконечный и тягостный сон тысячи лет средневековья», покончила во Франции с общественными классами и «дала бытие только французам»: «depuis cette merveilleuse nuit plus de classes, des Français» (332). В этом событии он видит «первое чудо нового Евангелия, божественное чудо, самое подлинное» (333).

Или вот еще такое характерное место. «К нам приходит одна религия, а две (что делать?) уходят: церковь и королевская власть. Феодализм, королевская власть, церковь, из этих трех ветвей старинного дуба первая падает 4 августа; две другие качаются; я слышу большой ветер в ветвях, они борются, они держатся, листья усыпают землю. Ничто не может сопротивляться. Пусть погибает то, что должно погибнуть! Не нужно сожалений, не нужно тщетных слез. То, что считается умершим сегодня, с какого времени, боже мой, умерло, конечно, остается бесплодным» (стр. 336). Такими словами Мишле начинает рассказ о церковной политике Учредительного Собрания, затем прямо апострофируя духовенство 1789 г. за его грехи перед народом. «Уйдите из храма! - восклицает он, между прочим. - Вы были в нем для народа, чтобы дать ему свет. Уходите, ваша лампада потухла.

Те, которые построили эти церкви, требуют их у вас обратно. Кто были они? Тогдашняя Франция, отдайте их Франции теперешней» (338). А в каких красках рисует Мишле поведение народа. «Что особенно будет удивлять лиц, знакомых с историей других революций, - говорит он, напр., - это - то, что в бедствующем и голодающем Париже, оставшемся без властей, было вообще очень мало серьезных насилий. Было достаточно одного слова, разумного замечания, иногда шутки, чтобы их остановить... Когда я думаю о нашем времени, столь слабом, столь своекорыстном, я не могу не восхищаться тем, что крайняя нищета совсем не сломила этот народ, не вырвала у него сожаления о прежнем рабстве. Они умели страдать, умели голодать. Великие вещи, совершившиеся в столь короткое время, подняли в народе мужество, вселили во всех новую идею о человеческом достоинстве... Явление, оставшееся мало замеченным: несмотря на те или другие насилия народа, его чувствительность увеличилась; он не мог уже хладнокровно видеть жестокие казни, которые при старом порядке были для него зрелищем... Сердце человека открылось для юного жара нашей революции. Оно быстрее билось, было более страстным, чем когда-либо, более бурным, но и более великодушным... Дары детей, женщин, щедрость бедняка, лента вдовицы, маленькие вещи, но столь великие перед лицом отечества, перед богом... Да, бедняк! бедняк! Кто расскажет о его жертвах!.. Благородная и великодушная нация. Для чего нужно, чтобы мы так мало знали эту героическую эпоху. Страшные насильственные, удручающие вещи, последовавшие потом, заставили забыть массу самоотверженности, ознаменовавшей начало революции. Явление более великое, чем всякое политическое событие, возникло тогда в мире: мощь человека, через которую человек становится богом, мощь жертвы увеличилась» (346-349).

Все движение, начавшееся в народе, находит в Мишле апологета. Так было и в [движение 5-6 октября 1789 г.](#), за которыми последовало переселение короля и Национального собрания в Париж. Народ один нашел выход из создавшегося положения, отправившись в Версаль за королем. «Не нужно, - говорит Мишле, - искать здесь действие партий; они действовали, но сделали очень мало (377). Что есть в народе наиболее народного, т.е. наиболее инстинктивного, наиболее вдохновенного, это, конечно, женщины». Им и принадлежит инициатива привести короля в Париж, чтобы он жил с народом. «Наивное понимание, но глубокое понимание». Если королевская власть не есть тирания, нужно, чтобы между королем и народом был брак и общность по средневековому выражению: «за одним хлебом и за одним горшком» (378). Мишле по этому случаю преклоняется перед французскими женщинами, которым позднее посвятил особую работу. «Такие вещи, - говорит он, - можно видеть только во Франции. Наши женщины производят храбрых и сами таковы. В стране Жанны д'Арк можно назвать сотню героинь... Женщины были в авангарде нашей революции. Не нужно этому удивляться: они больше страдали» (386). И Мишле продолжает дальше в этом роде о женщинах, желая прямо возбудить сострадание к тягостям женской доли. В рассказе о том, что делалось в [октябрьские дни](#), Мишле особенно выдвигает вперед роль женщин в этом событии. Многие его трогают в истории октябрьских дней, в одно и то же время «веселых, печальных, грубых, радостных, мрачных». Эта революция, как он называет все движение парижан на Версаль, была «необходима, естественна, законна» и вместе с тем «стихийна (spontanee), непосредственна, поистине народна» и «принадлежала особенно женщинам, как революция 14 июля принадлежала мужчинам. Мужчины взяли Бастилию, женщины взяли короля» (423). Также с проникновенным чувством Мишле описывает любовь народа к королю, великодушие народа, его стремление к единению. «Пусть на вечные времена знают, восклицает он, что в это плохо известное время, искаженное ненавистью, сердце Франции было полно великодушия, милосердия и прощения» (II,1). Все это настроение пропало вследствие поведения короля, королевы, двора, эмигрантов, духовенства.

В ряде глав третьей книги, где рассматриваются события с октября 1789 до июля 1790 года, Мишле особенно останавливается на [роли духовенства](#), взывавшего к гражданской войне, возбуждавшего религиозный фанатизм, разжигавшего социальные антагонизмы. В этом отношении Мишле сделал особенно много, даже и не в сравнении со своими предшественниками, мало интересовавшимися религиозной борьбой революции. Он не одобряет поведения Национального Собрания в этой истории. Что делало оно за время событий, совершавшихся в стране? «Оно шло за духовенством в процессии праздника божия тела. Его более чем христианская кротость во всем этом поразительном зрелище» (II,117). И совершенно правильно, с другой стороны, Мишле называет гражданское устройство духовенства, созданное Собранием, «делом слабым и фальшивым». «Не было, - поясняет он эти свои слова, - ничего гибельнее для революции, как не знать самое себя в религиозном отношении, не знать, что в себе самой она заключала религию. Она себя не знала и не, более того знала христианство; она не знала, была ли она с ним сообразна или ему противоположна, должна ли она была к нему возвратиться или же идти вперед». Она вообразила, что должна была «осуществить обещания евангелия, что призвана была реформировать, обновить христианство», и получила только то, что «священники снова сделались священниками, врагами революции». Епископы ради сохранения за собою всех благ земных заставили священников сделаться мучениками, в то же время представив народу каждого духовного, расположенного к революции, - а таких была масса, - как человека продавшегося из-за мирских выгод (II, 118). Впрочем, не все мысли Мишле в этом вопросе можно считать верными, потому что, называя гражданское устройство духовенства хартией свободы для церкви и клира, он не принял в

расчет, что тут было вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь религиозного общества (II, 124). Во всей оппозиции Национальному Собранию он видит, однако, разлад и недостаток веры. «Революция, говорит он, все более и более гармоничная и внутренне согласованная, с каждым днем; все более является тем, чем она есть, религией, а контрреволюция, разрозненная и внутренне несогласованная, тщетно предъявляет старую меру, она не есть религия. Ничего цельного, никакого определенного принципа. Ее сопротивление, - колеблющееся и сразу в разных направлениях. Она идет, как пьяный, шатаясь направо и налево. Король стоит за духовенство и отказывается поддержать его протесты. Духовенство нанимает, вооружает народ и требует у него десятину. Дворянство, офицеры ждут приказов от эмиграции и в то же время от революционных властей. Одной вещи не хватает всем, чтобы их действие было простым, сильным, вещи, которой много в другой партии: веры. Другая партия, это - Франция; она имеет веру в новый закон, в законную власть, в Собрание, истинный голос нации. На этой стороне все - свет, на другой все двусмысленно, неверно, темно» (II, 135). Только здесь, в нации «история, реальность, положительность, прочность, а остальное - ничто. Тем не менее это ничто (ce neant) нужно было длинно рассказать, - оговаривается Мишле. - Зло именно потому, что оно - исключение, неправильность, - требует, чтобы быть понятным, подробной и мелочной разработки. Добро, наоборот, все естественное, которое гладко идет само собой, нам почти известно наперед по соответствию своему с законами нашей природы, по вечному образцу добра, который мы носим в себе» (II, 137). Приступая после рассмотрения всех сопротивлений к рассказу о том, как строилась новая Франция, Мишле доказывает, что везде закону предшествовало спонтанное действие населения. Он замечает, что как раз менее всего привлекали к себе внимания и даже остались неизвестными «великие национальные факты, совершенные громадными, непобедимыми и потому отнюдь не насильственными силами». Обыкновенно рассказывают, что и как говорилось в Собраниях, и приводят законодательные меры, но факт-то в том, что «в этом чудотворном году, идущем от июля (1789) до июля (1790), закон везде предварялся стихийным порывом жизни и действия, - действия, которое, среди всяких частных беспорядков, содержит, однако, новый порядок и наперед осуществляет закон, имеющий сейчас быть созданным. Собрание думает, что оно ведет, а на деле оно идет по следам... То, что делает Франция, оно регистрирует более или менее точно, формулирует это и пишет под ее диктовку» (II, 138). Это - «важный момент, бесконечного интереса, когда природа вовремя себя находит, чтобы не погибнуть, когда жизнь, в виду опасности, следует инстинкту, лучшему своему руководителю, и в нем находит свое спасение. Устаревшее общество, в этом кризисе воскресения, дает нам присутствовать при происхождении вещей. Публицисты выдумывали колыбель наций; зачем было выдумывать? Вот она. Да, это - колыбель Франции, которую мы имеем перед глазами! Бог да сохранит тебя, о колыбель! Пусть он спасет тебя и поддерживает на этих безбрежных водах, где я с содроганием смотрю на твое плавание по морю будущего» (II, 139).

Просто говоря, речь у Мишле идет о той организационной работе, которая совершалась на местах, где новый порядок создается как-то сам собой, возникают новые власти из народных движений освобождения и самообороны, готовятся будущие общинные и областные учреждения. На всех обломках старого воздвигалась новая муниципальная власть. «Она одна стояла на ногах между разрушенным старым режимом и новым, еще бездейственным. Король был обезоружен, армия дезорганизована, штаты, парламенты разрушены, духовенство и дворянство снесены. Само Собрание, видимая великая сила, более приказывало, чем действовало; это была голова без рук. У него было сорок четыре тысячи рук в муниципалитетах. Оно почти во всем отдалось двумстам тысячам муниципальных должностных лиц... Как воспитательное средство для народа, как посвящение его в общественную жизнь, это было достойно удивления» (II, 146). Если Франция 1789 года почувствовала себя свободной, то Франция 1790 г. создала себя единым отечеством. Это была новая религия. Мишле подробно рассказывает о федерационном движении в провинциях, восхищаясь им, даже трогаясь до глубины души, опять преклоняясь перед народом, еще раз отмечая роль женщин в этом движении к национальному объединению. «Различия классов, состояний, партий, - говорит Мишле, - были забыты», (II, 158) - и пишет новые страницы патриотической лирики, Франция праздновала свое единство и историк дал восторженное описание ее патриотических торжеств.

Но в таком случае, почему же все это не упрочилось, и «новая религия» оказалась не в состоянии вполне сложиться? Революция охватила одинаково и горожан, и крестьян. «Городской пролетариат, составляющий громадное затруднение в наши дни, - говорит Мишле, - тогда едва существовал, кроме Парижа и нескольких больших городов, где сосредоточился голодающий люд. Не нужно помещать в то время, ни видеть тридцатью годами раньше их рождения эти миллионы рабочих, родившихся после 1815 года. Таким образом, препятствие между буржуазией и народом было минимальным. Первая могла без страха броситься в объятия другого. Эта буржуазия, - продолжает Мишле, - пропитанная Вольтером и Руссо, была в большой дружбе с гуманностью, была более бескорыстной и великодушной, чем та, какую создал индустриализм, но она была боязлива, и нравы, характеры, образовавшиеся при этом жалком старом порядке, неизбежно были слабыми.

Буржуазия трепетала перед революцией, которую произвела и попятилась назад перед собственным своим делом. Страх ее отуманил, погубил, гораздо более, чем интерес. Не нужно было глупо поддаваться впечатлению от действий толпы, у которой закружились головы (au vertige des foules), пугаться, отступить от этого поднявшегося океана. Нужно было в него окунуться. Иллюзия страха тогда исчезла бы. Издали это был океан с грозными и опасными валами, а вблизи это были люди и друзья, братья, протягивавшие вам руки. Не представляют себе, сколько в это время существовало в народе старых привычек уважения, почтения, доверия, благоприятных для образованных классов. Он видел среди них, в этот первый момент, своих ораторов, своих адвокатов, всех борцов за его дело. Он шел к ним с чутким сердцем» (II, 188). Впрочем, Мишле, слишком не обещает, отмечая, что очень многочисленная часть буржуазии бросилась в одно движение с народом. Ведь безразлично и монтаньяры, и жирондисты целиком принадлежали буржуазии, а патриотические общества, в том числе и якобинский клуб до 1793 года, по-видимому, не принимал у себя людей необразованных классов. К этой революционной буржуазии, к писателям, журналистам, художникам, адвокатам, врачам, священникам и пр. прибавилось еще множество буржуа, приобретших национальные имущества. «В то время, - по словам Мишле, - когда одна часть буржуазии была развращена эгоизмом и страхом, другая была ожесточена ненавистью, и, как искаженная в своей природе, утратила всякое человеческое чувство. Народ, без сомнения, склонный к раздражению и к насилию, но не питавший в себе систематической ненависти, гораздо менее утрачивал свою природу». Обеим частям буржуазии, думает Мишле, нужно было быть иными: одной не столь робкою, другой не столь озлобленной (II, 189), и какую бы тогда прочной была революция, и как Франция тогда избежала бы падения 1800 года! (II, 190) Это были внутренние причины неуспеха, но были и внешние: их Мишле усматривает в «упорной ненависти, какую революцию преследовали на всей земле священник и англичанин» (II, 205). То были представители двух лицемерий: «лицемерия авторитета и лицемерия свободы, одним словом, две формы Тартюфа. Священник действовал преимущественно на женщин и на крестьянина, англичанин - на буржуазные классы» (II, 194). От обоих врагов шло сплетение лжи и клеветы, распространявшихся за границей со слов эмигрантов, даже таких лиц, как Мунье. Книгу Бёрка Мишле называет «свирепой и грозной», столь же проповедовавшей насилие, как и писания Марата (II, 200), «жалкой декларацией» (201), действие которой на англичан было, однако, громадным. Простой и левоверной толпе, женщине и крестьянину, священник передавал мысли средних веков, полные смятения и дурных снов. Буржуазия пила английский опиум со всеми ее ингредиентами эгоизма, благосостояния, комфорта, свободы без жертв» (205-206).

Опасности грозили революции отовсюду. К их числу Мишле относит сближение конституционалистов с роялистами, чтобы покончить с революцией, начавшей надоедать, раздражать. Лафайет, принимавший в этом участие, не отделался совсем от «идей, предрассудков, привычек своей касты» (207), а у торговцев были свои причины быть недовольными революцией (206-208). Мирабо тоже рисуется не вполне обращенным. В это самое время Европа замышляет контрреволюцию. Для спасения революции нужна была «обширная и сильная ассоциация надзора (surveillance) над королем, над его агентами, над священниками, над дворянами». Якобинцы, говорит Мишле, не сама революция, а око наблюдения, голос для обвинения, рука для нанесения ударов». Он находит несправедливым, по отношению к этой крупной ассоциации, «полагать ее происхождение», сосредоточивать всю ее историю на парижском обществе якобинцев, Оно, смешанное более, чем какое-либо другое, с нечистыми элементами, более даже дерзновенное, мало разборчивое в выборе средств, часто толкало емких сестер, провинциальные общества, покорно за ним следовавшие по маккиавелические пути» (231-232). Не одни обстоятельства, замечает Мишле, создали эти общества: «их происхождение зависит также от разновидности характера. Якобинец - это особый и оригинальный вид. Многие люди рождаются якобинцами» (232). «Мишле указывает на пестрый состав этих «обществ, на то, что в них в это время (т.е. в 1790 г.) было мало людей из народа, совсем не было бедноты. Здесь преобладали люди среднего ранга: адвокаты, обижавшиеся на судей, мелкие ходатаи по делам, фельдшера, хотевшие стать адвокатами или докторами, священники, завидовавшие епископам (235). Все это объединяло, спланивало, но у «этих маленьких церквей» не было определенного символа веры, ибо в их «Credo» соединялись, без их ведома, самые противоречивые принципы (236). Мишле дает здесь общую характеристику якобинцев, подчеркивая их разрыв с духом старой Франции, с его доверчивою и почтительною вежливостью, и с его чувствами чести, хотя бы и соединенным с разными предрассудками (237). В борьбе со священниками, пользовавшимися исповедью и доносами, они «смело объявили себя друзьями доносительства, как первой обязанности гражданина», стали наблюдать друг за другом, делать тайные и явные доносы, «создали для блага Франции легион, целый народ публичных обвинителей». Отсюда развилась «чрезмерная, болезненная недоверчивость, тем большая еще подозрительность, тем менее было возможности узнать подноготную (238). Все тревожило, все казалось подозрительным». При тогдашнем положении Франции Мишле считает все эти страхи естественными и находит в этом оправдание для якобинцев. Против одной инквизиции они выдвинули другую. Начинается борьба между конституционалистами, тяготеющими к роялистам, и якобинцами, - борьба, в которой «обе стороны пускают в ход силу, насилие, террор. Лафайет наносит свои удары солдатами Буйлье, якобинцы - бунтами. «Сколько веков, - восклицает Мишле, - отделяют нас от июльского праздника Федерации! Кто этому поверил бы, что только два месяца...

Мы входим, продолжает он, в мрачное время заговоров, насилий. Все становится темным. Горячая, беспокойная печать, это чувствуется, идет ощупью. Она прищуривается, ищет, ничего не видит, угадывает. Инквизиция якобинцев, начинающая действовать, дает слабое и неверное освещение, которое в одно и то же время как будто и светит, и затемняет» (245).

Для Мишле в эти годы во Франции было только две действительные силы: одна - революционная, якобинцы, другая, которая имела от революции свою выгоду, и, казалось, могла бы легко с революцией примириться, - низший клир, масса в восемьдесят тысяч священников. Рассказывая о борьбе принципов в Собрании и в якобинском клубе еще в 1790 г., историк уже теперь выдвигает вперед Робеспьера, который, как политик, стремился опираться на обе эти силы, «уверенный, что тот, на чьей стороне будут якобинцы и священники, будет близок к тому, чтобы иметь все» (272). Сами якобинцы представляются у Мишле чем-то священническим (*quelque chose du pretre*), по своему корпоративному духу, по своей горячей и сухой вере, по своему жесткому инквизиторскому любопытству. Якобинцы, говорит Мишле, образуют в своем роде революционный клир, а Робеспьер мало-помалу делался, его главою. В этой роли он оказал замечательную осторожность, проявляя мало инициативы, выражал собою якобинцев, был их органом, никогда их не опережал» (174). Якобинцы кажутся Мишле «обществом уравнищенности» сравнительно с другим клубом, с кордельерами, «этой сивиллиной пещерой революции, где она бредила (*eut son delire*), имела свой треножник, своего оракула» (177). Устроившись в здании монашеского ордена кордельеров, эти революционеры, «как и средневековые, имели абсолютную веру в инстинкт простых людей и только, вместо божественного озарения, называли его народным разумом». Их гений, совершенно инстинктивный и самобытный, то вдохновенный, то одержимый, глубоко отличает их от энтузиазма с расчетом (*calcule*), от мрачного и холодного энтузиазма, характеризующего якобинцев» (278). Это был, как известно, клуб более простонародный, но вместе с тем и какой-то клан (*trihii*) очень сильных индивидуальностей в лице ряда журналистов [Марата](#), [Демулена](#), [Эбера](#) и не хотевшего писать, но много говорившего [Дантона](#). Мишле с симпатией говорит о народном духе кордельеров. Они всегда смешивались с народом, были в общении с толпой, «верили в народ, верили в их власть над народом. «Они обладали тремя революционными силами и как бы тремя признаками громового удара: сотрясающим и гремящим голосом, заостренным пером и неугасимую яростью, - Дантона, Демулена, Марата. Но у них Мишле отмечает неспособность к организации. Народ представлялся им весь в каждом человеке. «Они помещали абсолютное право суверена в одном городе, в одной секции, в простом клубе, в отдельном гражданине» (280). Мишле набрасывает здесь характеристики выдающихся деятелей клуба, характеристики, которые много потеряли бы в пересказе. При том же их роль была еще впереди.

В 1791 году Мишле уже видит начало отречения революции от своего принципа: свобода топчет ногами права свободы, и раздается призыв к силе. Но откуда он идет? Это, отвечает Мишле, наиболее образованные люди, юристы, врачи, литераторы, писатели, это люди, которые, подстрекая слепую толпу, хотят решать вопросы духа материальным действием» (310). «Несмотря на все излишества и преступное легкомыслие Марата, видимая искренность его негодования против всякого зла» очень заинтересовала Мишле, признается он сам, и заставила его заняться этим «странным человеком» на основании его собственных писаний (311). Из ряда страниц, на которых идет речь о Марате, выхватим только небольшое количество строк, говорящих сами за себя. «Проблески здравого смысла у него были редки. Гораздо чаще среди его яростных криков намечаются приступы шарлатанства, бредового хвастовства, на которые может только отважиться сумасшедший (*fou*)... Самые френетические его упоения были священными, его кровожадная болтовня, слишком часто смешанная с вероломными донесениями, которые он списывал без разбора (*jugement*), принимались за изречения оракула. Впредь он может полным ходом идти к абсурду. Чем более он сумасшествует (*plus il est fou*), тем более ему верят. Это титулованный шут (*fou*) народа: толпа ему смеется, слушает его, любит его и верит только своему шуту. Он ходят с закинутой назад головой, гордый, счастливый, улыбающийся во время самой большой ярости. То, чего он добивался в течение всей своей жизни, у него теперь есть; все на него смотрят, говорят о нем, его боятся... Вчера великий гражданин, сегодня провидец (*voyant*), пророку лишь бы сделаться ему еще более сумасшедшим, этот провидец сойдет и за бога» (322, 333, 334). Но за Маратом шли и другие журналисты. Между прочим, Мишле говорит, что «причины личного свойства, часто очень мелкие, жалко человеческие, содействовали превращению их всех в насильственников. Не будем краснеть, - прибавляет Мишле, - говорить это» (335).

«Чтобы понять, - читаем мы далее, - каким образом самый ни цивилизованный народ на другой день после праздника Федерации, когда сердца казались исполненными братских чувств, мог так быстро пойти по пути насилий, нужно было бы быть в состоянии исследовать глубину неведомого океана, океана народных страданий» (339). Первым результатом насилий был отъезд уже не дворян, а просто богатых или зажиточных людей, отнюдь не врагов революции, но просто ею напуганных. «То, что оставалось, не смело ни пошевелиться, ни что-либо предпринять, ни продавать, ни покупать, ни фабриковать, ни расходовать». Деньги спрятались, работа остановилась, и революция, открывшая дорогу перед крестьянином, закрывала ее для рабочего, который шел на трибуны Собрания, в клубы и принимал участие в смутах, оплачивавшихся или не оплачивавшихся. При таких обстоятельствах Мишле признаёт громадность ответственности якобинцев, которые должны были сдерживать страсти, избегать террористических грубостей, создавших революции бесчисленных врагов (340), но они неловко поступали, как раз наоборот. «Якобинцы, прибавляет он, словно выступили как наследники священников, как подражатели их раздражающей нетерпимости, благодаря которой духовенство вызвало столько ересей. Они смело пошли за старым догматом: «вне нас нет спасения», и кроме кордельеров, которых оставили в покое, принялись преследовать другие клубы (341). Грубая война якобинцев, еще не бывших республиканцами, против монархистов, презрение к порядку и к законности, «это предвкушение террора, чего нельзя было бы извинить и у фанатиков», практиковались политическими деятелями, устроившими «инквизицию без религии» и бывшими тем более беспокойными, что сами были в подозрении (348). «Революция вчера была религией, сегодня она делалась полицией», - замечает Мишле, полицией, которая становится «машиной для умножения друзей контрреволюции» и во Франции, и в Европе, где имя Франции сделалось ненавистным. Настоящий принцип справедливости, сделавший революцию, заменился другим - общественным спасением, погубившим Францию и приведшим ее к военной тирании (351). Учителя спасения народа «должны были бы его, по крайней мере, спросить, желает ли он быть спасаемым... Что сказали бы они, эти спасители, если бы народ ответил: я хочу погибнуть, но остаться справедливым. Мирабо, сказавший так, был здесь органом самого народа, голосом самой революции. В этом слове, среди всех его недостатков, его не погибающая слава» (352). Дух Мирабо, читаем мы в другом месте, был совершенно противоположен духу якобинцев. Он не мог подчиниться игу этой посредственности (*esprit moyen*), которая, не имея нужды в таланте избранной природы, ни увлечения народа, его наивного, глубокого инстинкта, «требует от всех какого-то среднего уровня». Средний класс, буржуазия, продолжает Мишле, самая беспокойная часть которого волновалась в клубе якобинцев, выступал на сцену (*avait son avènement*). В сравнение с идолом уже ушедшим, с Лафайетом, и идолами, только еще имевшими придти, т.е. с **жирондистами** и **монтаньярами**, Мирабо рисуется нашему историку могучим атлетом, стоящим на берегу в позе борца с океаном во время его прилива, с океаном посредственности (365). Он сам не мог бы точно определить, с чем он боролся, но, во всяком случае, не с народом, не с народным правлением, в республике он только выиграл бы, сделавшись первым гражданином (386). Отметим, что отзыв Мишле о Мирабо вообще самый восторженный.

Итак, по представлению Мишле, во Франции столкнулись две нетерпимости - церковная и якобинская, борьба между которыми только возрастала, а во время этой борьбы **король** и **королева** только и делали, что обманывали всех. В III томе, где рассказаны события, главным образом, от **попытки короля бежать**, до бойни на **Марсовом поле**, события столь драматического характера, Мишле не забывает отмечать, как реагировал народ на все эти события, и не раз говорит о поведении женской половины населения Парижа. Он посвящает две главы (4 и 5 книги пятой) знаменитым дамским салонам. В 1791 году, когда партии, как выражается Мишле, сделались религиями, одна «набожной и роялистской идолатрией, другая республиканским идеализмом», женщины, говорит он, менее нас испорченные софистическими и схоластическими привычками, шли много впереди мужчин в обеих религиях. Трогательно видеть, как среди них не только чистые, безупречные, но даже наименее достойные подчинялись самому благородному порыву к бескорыстной красоте, делали родину подругой сердца, вечное право - своим любезным» (II, 125). В 1791 году женщины царствуют, благодаря чувству, страстности, а также нужно сказать, своей инициативе (II, 127). Мужчины же чувствовали себя утомленными, когда **г-жа Ролан** вдохнула в них свежесть чувств и действительное мужество (II, 152, 153).

В этой части своего труда Мишле следит за тем, как возрастало республиканское направление и как и в него вовлекался народ. На деле, однако, была выработана монархическая конституция, которую Мишле не анализирует, а только коротко характеризует. Королевская власть была и ней лишь «величественной бесполезностью», хотя и с «раздражавшим и вызывавшим» суспенсивным вето, была какою-то великолепной, но устарелой мебелью, неизвестно для чего оставленной. Отняв у короля способность действовать, конституция дала ее народу: в этой «обширной машине агитация была везде, действия не было нигде» (II, 242). Эта конституция не была ни буржуазной, ни вполне народной, потому что при тогдашнем цензе могло быть три - четыре миллиона избирателей, т.е. ценз был «совершенно иллюзорным, если хотели основать буржуазное правление» (III, 243).

А рядом во всей Франции распространялась и укреплялась якобинская ассоциация: Мишле уже «замечает на вершине этого громаднейшего здания из тысячи ассоциаций [бледную голову Робеспьера](#)» (III, 245) Он часто, даже очень часто критикует «ошибки Учредительного Собрания, его извилистые и достойные обвинения пути, на которые увлекали его вожаки», но это не мешает ему признать, что «это великое Собрание оказало услугу человеческому роду». Мишле даже считает себя неправым перед Собранием, что, говоря о его интригах, не сказал ничего о его работах, а говоря о главах партий, о вожаках, промолчал об остальных деятелях, просвещенных, скромных, беспристрастных, работавших в комитетах, голосовавших в заседаниях (III, 251). Действительно, все это отсутствует в труде Мишле. Он рассказывает, описывает, размышляет, но не излагает и не анализирует ни законов, ни учреждений, ни создававшихся ими реальных отношений. По отношению в непряжкому клиру Мишле находит Собрание слишком мягким, а как раз главная сила роялизма была в действии этой части духовенства на народ (259). «Ничто, - по словам Мишле, - не может дать понятия о глухом и сильном (violente) преследовании, жертвой которого была революция, казавшаяся госпожой положения (261), со стороны: «духовенства, отстаивавшего папскую и королевскую непогрешимость, т.е. «понтификальную и монархическую инкарнацию» абсолютной власти» (260). И католический фанатизм, и революционный энтузиазм поддерживались известными материальными интересами (286 и сл.). Распродажа национальных имуществ, которую Мишле рассматривает только с этой точки зрения, а не со стороны экономической истории, вообще у писателей того времени, стоявшей на заднем плане, - создавала новый класс приверженцев революции. «Якобинцы делаются покупщиками, покупщики - якобинцами», и в их обществах царит новый дух: «они отвергают умеренных, полуреволюционеров, людей уже утомленных революцией, и заменяют их двумя категориями очень горячих людей» (73), а именно дельцов (hommes d'affaires et d'interet) и идейных патриотов, которые к прежней инквизиции, как средство спасения, присоединяют инквизицию церковных имений». Были именно такие, которые покупали, как бы только исполняя долг перед революцией (274). История Учредительного Собрания рассказана в первых пяти «книгах», составляющих три тома, к концу последнего из которых Мишле присоединяет статью «о методе и духе» своего труда. Он объясняет разницу между третьей и четвертой книгами тем, что здесь совершился кризис, прошла грань между светлой и мрачной полосами (281). Свой труд он сравнивает с двумя маяками, с которых наиболее темные и узкие улицы Парижа освещались бы электрическим светом: один маяк, это - федерации, другой - клубы (282). Здесь много новых повторений сказанного, столь вообще частых во всем труде, есть и полемика с другими историками революции, с Бозекингем, с Ламартином, с Луи Бланом, встречающаяся и в других местах. История Законодательного Собрания изложена в двух «книгах» (VI и VII), составляющих тома четвертый и половину пятого. Здесь к внутренней политике присоединяется внешняя, которая оказывала такое влияние на внутреннюю.

Главное содержание шестой «книги» - национальный порыв против внешнего и внутреннего врага, при чем обнаружилось, что центральной фигурой, около которой сосредоточились все вообще враги, был король; его низвержение нужно было для спасения Франции, так сам Мишле намечает тему «книги» (IV, 11-12). Здесь опять в самом же начале противоположение одной Франции, читающей и разговаривающей, другой Франции, ничего не читающей и мало говорящей, но работающей: первая думала, что войны не будет, а вторая, трудящаяся и молчаливая, даже готовилась к войне. Война зрела в народной массе, в 1791 году выбиравшей депутатов, и ни пресса, ни клубы, думает Мишле, не имели большого влияния на народное движение «вполне наивное и спонтанное» (IV, 17). Движение началось с [варенского бегства](#), т.е. с конца июня 1791 года. «Франция этого года, - говорит Мишле, - являлась юной и чистой, как дева свободы. Мир был в нее влюблен. С берегов Рейна, из Нидерландов, с Альп ее звали, умоляя придти. Ей оставалось только переступить границу, и ее встретили бы, стоя на коленях. Она не приходила, как нация, она приходила, как справедливость, как вечный Разум, ничего не требуя от людей, кроме осуществления их лучших мыслей, доставления торжества их праву. Священный день нашей невинности, кто тебя не пожалеет! - восклицает Мишле. - Франция еще не вступила на путь насилия, ни Европа - на путь ненависти и зависти. Все это изменится с конца 1792 года, и народы тогда обратятся против нас со своими королями» (IV, 20-21). Так опять восторженно начинает Мишле, чтобы потом снова спастись с тона. Король обратился к иностранным государям, но мало любил эмигрантов, душой и сердцем принадлежал духовенству. «Реальный пункт, из-за которого он был в глубоком, непримиримом разладе с революцией, это был вопрос о священниках» (IV, 34-35). Непряжное духовенство было «сердцем и силою, всенародною силою контрреволюции. Страшное в провинциях, оно было слабо в Париже», который «объяснял тягостное продолжение революции сопротивлением священников и начал смотреть на них, как на внутренних врагов» (IV, 36) Клерикальная партия царилась в хижинах и в королевском дворце. «Она пользовалась королем сразу двойным образом, как кающимся на исповеди перед духовником, и как мучеником, как предметом легенды в проповедях народу... И именно из тесного единения короля и священника Франция, наконец, поняла, что король, это был враг» (IV, 38). Не то, значит, по Мишле, что король был в сношениях с иностранцами, как принято было вообще думать, было причиной вражды в королю, а то, что он был в союзе с клиром, - точка зрения, понятная при общем, взгляде Мишле на революцию. С этой точки зрения он очень подробно

рассказывает историю революции в папском Авиньоне с ее ужасными убийствами. Их следствия были неисчислимы, говорит он. Они создали против невинной Франции жестокие обвинения. Революция шла в мир с распростертыми объятиями, наивная, любящая и благотворительная, бескорыстная, поистине братская», а авиньонские ужасы заставили всех от нее отшатнуться (IV, 100). О том, как вспыхнула война, бывшая делом жирондистов, Мишле рассказывает подробно, в нескольких местах, характеризуя самоё эту партию. «Любезная и великодушная молодежь, которая должна была жить так мало! восклицает здесь он. Большинство их было рождено для сладостных и блестящих Муз. Но само время было войной... Их положение сообщало им, я не знаю, что-то беспокойное, тревожное, какую-то политическую слепоту, которые бросали их в массу ошибок и очень принизили бы их в истории, если бы они не поднялись в обаянии великих теней смерти» (IV, 41). «Жирондисты, - читаем мы еще, - хотели внешней войны, якобинцы - войны с изменниками, с внутренними врагами. Жирондисты хотели пропаганды и крестового похода, якобинцы внутренней чистки, наказания дурных граждан, подавления сопротивлений путем террора и инквизиции» (IV, 124). «Жиронда была дочь войны; это война ее создала... У Жиронды был порыв; громадный импульс шестисот тысяч добровольцев, готовых идти в поход; она имела свои народные машины, которыми она побивала фейльянов и якобинцев». Под этим Мишле понимает «фабрикацию пик и красный колпак». Мечем, раз он вынут из ножен, Жиронда думала воспользоваться двояко: против королей, одним ударом сокрушив трон, а острие приставить к горлу внешнего врага, который позади себя увидел бы восставшие народы (133). В отношении к королю он обвиняет Жиронду в двоедушии (*duplicite*), составлявшей ее слабую сторону, в лицемерии, делавшем ее неправую (138). Борьба жирондистов и якобинцев по поводу войны дает историку повод коснуться нападения Робеспьера на «философию» и защиты ее красноречием Бриссо, именно обвинения первым жирондистов в том, что они ставили себя выше народа (171), хотя сами же якобинцы, не доросшие до философии, стояли тоже над народным инстинктом (178). А народный инстинкт продолжал действовать. «Восстание 20 июня предупредило неисправимого короля старого порядка, друга священников, 10 же августа низвергло друга заграницы, друга врагов... Когда пришел час, здравый смысл народа, инстинкт спасения, необходимость, вытекавшая из положения, сразу решила событие», прибавляет Мишле о 20 июня (226). Он подчеркивает мирный, безобидный, сначала, характер этого движения (239) народ «был шумен, но радостен, хорошо настроен скорее, нежели угрожающе» (239) и т.д. Даже по поводу события 10 августа Мишле считает возможным говорить, что низкие, неблагородные страсти в этот момент героической экзальтации ни у кого не обнаружили, и что, наоборот, было много актов великодушия (140). Он не отрицает, что в эти дни и недели, всегда существовавшие в каждой большой столице «подонки общества, кровожадная грязь, подлый и тупой элемент» (V, 10) выступали на сцену, но в то же время говорит, что у настоящего народа даже не мстительность играла роль, а «глубокое чувство нарушенной справедливости, законное негодование вечного права» (V, 11). При изображении сентябрьских убийств, частью по рассказам, слышанным из уст свидетелей (V, 60, 91, 114, 127), Мишле более всего хлопочет об исторической правде. Он даже ставит себе в заслугу, что первый вошел в эту мрачную область, «как Эней в преисподнюю, с мечом в руке, устраняющим пустые тени, и защищаясь от лживых легионов, которые его окружают». Старым историкам и устной традиции он противопоставляет архивные документы и свою критику (V, 45-46). Главы IV-VII седьмой книги, посвященные этому предмету, представляют собой результат особых изысканий. Мишле здесь строгий судья злодеяний. Кроме того, он выступает противником «мнения, легкомысленно принятого историками, будто сентябрьская бойня была исходным пунктом победы, будто народ после такого преступления, вырывшего позади него такую бездну, почувствовал, что нужно было победить или умереть, будто сентябрьские убийцы увлекли армию, были авангардом Вальми и Жеммапа» (V, 113). Этих ужасов хотели некоторые секции, хотела Коммуна, хотел Марат; убивали стариков, женщин, детей; за кровавую работу требовали и получали плату, все это Мишле отмечает. Но когда речь заходит о внешней защите, опять он говорит в приподнятом тоне.

Не будем останавливаться на главах о военных успехах Франции и о «завоеваниях поневоле», о вандейском восстании, где главную роль сыграли «священник и женщина». Все это рассказано подробно и живо, и лишь мимоходом упоминается без особых деталей об окончательном падении во Франции феодализма (V, 183 и 220-224), причем о средних веках говорится гораздо больше, чем о законодательстве революции, на счет феодальных прав, - черта, характерная для Мишле, вообще мало занимавшегося такими вопросами. В рассказе о начале Конвента Мишле огорчен гибельным для Франции «расколом, между республиканцами и республиканцами» (V, 226), которые «поражали друг друга, как бы будучи совсем одни с другими незнакомыми». Он указывает на то, как часто их взаимные обвинения были несправедливы. «Нет, - говорит он, - эти обвинения не были заслужены. Все были, клянемся в этом, превосходными гражданами зрячими друзьями отечества. Вообще это была ревнивая, страшная любовь к республике, которая их бросила на путь несправедливых обвинений и истребления (V, 227). Они ненавидели, потому что слишком любили... Повторим это, оба обвинения были одинаково ложны. Жирондисты не были роялистами (V, 228). Монтаньяры не были виновниками сентября, кроме Марата и двух-трех других» (229). Неверно, что Париж хотел быть сам королем Франции, как неверно, что жирондисты покушались на «прекрасную централизацию, одну устанавливающуюся во Франции» (229). Первые битвы были в области умозрений по вопросам о суверенной власти,

о собственности. Дантон провозгласил необходимость объявления собственности, сохраненной на вечные времена. По Мишле, это было необходимо. За свою собственность боялись старые владельцы и начинали бояться новые: их нужно было успокоить (238). Сама свобода нуждается в собственности, между ними нет противоречия (239). Ссоры по практическим вопросам рассказаны подробно, но во взаимных обвинениях было много мнительности, подозрительности, легковерия с обеих сторон (169). Жирондисты были против власти толпы, против якобинских обществ, начавших принимать у себя простолюдинов. «До тех пор, - говорит Мишле, - жирондисты питали к низшим классам, ко всей совокупности народа удовлетворительное доверие. Большею частью буржуа, но прежде всего философы, пропитанные великодушной философией XVIII века, они первоначально применили абсолютным образом, без оговорок, мысль о равенстве, которую носили в сердце...

Всемогущая [зимой 1791 года и весной 1792 г.](#) Жиронда оставалась верной своему учению» (263). Но с сентября 1792 г. она стала «удаляться понемногу с того поста, который до того времени занимала в революции, как авангард равенства» (264), когда подумала, что собственность находится в опасности, и, чтобы устранить революционную диктатуру с перспективой аграрного закона, стала опираться на класс, который по неизбежной покатоности шел к реставрации королевской власти» (265). Вот как Мишле определил социальный характер жирондизма. «Бывши весной 1792 г. «настоящею национальною партией, партией равенства, Жиронда оставила эту роль и допустила, чтобы её взяли на себя ее враги, Гора, якобинцы» (266). Притом они не умели действительно взять власть (267) и не захотели идти вместе с Дантоном, этой «политической головой, готовой принять все разумное и уже отвергнувшей Марата» (268). У них был известный, очень почтенный пуританизм, но и тут они не были достаточно последовательны (270). И между тем Мишле очень высоко ставит Дантона, как единственного человека который был нужен, он, этот «великий и страшный служитель революции» (277 и сл.), трогательно стремившийся к примирению партий» (291). Зато выигрывали якобинцы. «Национальный гнев, - говорит Мишле, - страшный в июне 1791 г., страшный [в августе 1792 г.](#), утих. На смену пришло презрение. Нация никоим образом не требовала головы Людовика XVI... Нужно было много ловкости и понимания, чтобы разбудить страсти. Якобинские общества здесь оказались удовлетворительными: они действовали с послушанием, с настойчивостью, которая могла бы возбудить зависть в церковных и политических корпорациях средних веков (358). Ни в этом вопросе, ни в деле Коммуны, покусившейся на Конвент, жирондисты не проявили ни единства, ни энергии. Выиграл Робеспьер: моральный вождь якобинцев сделался политическим вождем Горы, равно как Коммуны, и после этого революция, холодная и страшная, пошла позади резонера, который ни малейшим образом не был представителем ее великодушных инстинктов» (365).

Вся девятая книга «Истории французской революции» Мишле, занимающая центральную часть шестого тома, почти целиком посвящена [вопросу о вине Людовика XVI и о его процессе](#) (о последнем около ста восьмидесяти страниц). «Людовик XVI был виновен», - так называется первая глава «книги», - виновен в том-то и том-то, но со смягчающими обстоятельствами, главная же вина короля состояла в том, что он совершил величайшее преступление, непрощительное, не подлежащее давности, преступление против живой, коллективной личности, против нации: убить нацию - преступление, а еще большее «это - ее унижить, предать ее на «поругание иностранцам, дозволить ее изнасиловать, лишить ее чести» (VI, 31). «Людовик XVI был виновен, но не имелось никаких доказательств его виновности» (34). Мишле находит, что «процесс был невозможен в 1793 году», но теперь, говорит он, «процесс возможен, ибо уже есть неопровержимые доказательства, которых тогда не было» (21-24). Объяснение того, что «политики так хотели погубить бывшего короля», Мишле ищет в яростной борьбе партий в Конвенте, в мрачной ярости игроков, ставивших друга против друга свои головы на голову Людовика XVI, но «вносивших в эту борьбу и искренний патриотизм», убеждение, что это было нужно, дабы жила новая Франция (35). Но, по словам Мишле, «революция судя Людовика XVI, тем самым должна, была судить самоё себя, сказать, из какой моральной идеи она брала свою жизнь и свое право», а жизненной идеей революции была идея справедливости, - «справедливости» широкой, благородной, человеческой, любящей до нежности», бывшей вместе с тем «милостью без произвола и каприза», совершенно божеской (VI, 106). Деятели революции в 1791 и 92 гг. проповедовали эту идею и святость человеческой жизни, но пришли опасности, и люди заговорили: мы погибнем, если останемся справедливыми; сегодня будем спасать Францию, а завтра будем справедливы. «Жирондисты первыми подверглись искушению... Двуличие двора их самих научило двуличию» (VI, 109). Никогда обстоятельства не ввергали народ в такую ужасную дилемму: погибнуть или остаться справедливым, сохранить «справедливость слепую ко всему, что называется интересом, глухую к политике, не знающую, божественно не знающую соображений государственного человека» (110). «Отнять свою руку и смотреть, спасется ли сама собою революция, освобожденная от политики! У наших отцов, говорит Мишле, такой веры не было, да и кто бы мог ее иметь» (111)? И вот он подробно следит за ходом дела в Конвенте, постоянно указывая на то, как левая терроризировала остальных членов, постоянно отмечая разногласия жирондистов и монтаньяров по разным пунктам процесса. В одном он видит, их полное согласие: обе партии подчиняли правосудие соображениям общественного блага, защищая справедливость только на втором месте, да и то лишь наполовину. Обе партии спорили только, кому судить. «Монтаньяры хотели видеть судью в лице Конвента, жирондисты во всей нации. Так, - прибавляет Мишле, - перевернулись роли. Жиронда, считавшаяся аристократической, доверялась самому народу.

Гора, партия существенно народная, казалось, не доверяла народу». Это ставило монтаньяров в ложное положение, что усиливало их бешенство и заставляло их предъявлять против жирондистов клеветнические и убийственные обвинения (213). Поведение обеих партий Мишле называет одинаково мужественным: каждая, защищая свою позицию, видела, что обрекает себя на смерть. Но в то же время обе они ошибались в своих расчетах (219, 226 и сл.). Как и в отношении сентябрьских убийств, Мишле пересматривает весь ход дела, «жестоко, как он выражается, искаженный историей» (244), между прочим, имея и здесь случай пользоваться архивными документами против мемуаров (233). Не обвиняя ни в варварстве подававших голос за казнь короля, ни в слабости голосовавших за другие наказания (245-247), он восхваляет жирондистов за то, что, требуя апелляции к народу, они отстаивали принцип народного верховенства, тот самый принцип, во имя которого они низвергли монархию, тогда как монтаньяры поддерживали открыто права меньшинства» и хотели спасти народ без уважения к его верховенству, что ставило эту «искреннюю, героически патриотическую партию на опасный путь» (248). В заключение Мишле произносит свой приговор над приговором Конвента (стр.281). Роялисты сделали из Людовика XVI святого, мученика, - это республиканский историк называет ложью, - а те, которые его осудили, «знали, что, поражая короля, они наносили удар самим себе», и тем они проявили свою самоотверженность. «Они были убеждены, что иным способом не могли бы утвердить верование, которым живут нации: отечество священно, и кто его предает, от этого умирает. Уважение к Франции, говорит еще Мишле, целость ее территории, святость ее границ, нашу, т.е. тех, которых тогда еще не было, безопасность, все это они думали обеспечить этим приговором. Заблуждались ли они? Это не мы, по крайней мере, которых они думали спасти, упрекнем их за это. Нет, героические люди, благодарные сыны вам протягивают руку через пространство времени. Даже ваши враги, которые и враги Франции, обязаны в вас почитать победителей, основателей республики, победительницы врагов на все будущее» (283-284). Последний аргумент о врагах, впрочем, отзывает простой риторикой.

Vive Liberta ©

В рассказе обо всей этой «революционной драме» Мишле считает невозможным остановиться: «от процесса короля до катастрофы жирондистов, до террора не может быть никакой передышки», говорит он, хотя эта драма, конечно, еще не вся вообще революция (VI, 19). Три громадных факта занимают во время процесса короля и после него внимание Мишле: во первых, завоевание земли работником, самое большое изменение, какое когда-либо было в собственности, со времени аграрных законов древности и варварского вторжения, а во вторых, рост общественного индифферентизма, особенно в городах, специально в Париже с конца 1792 г.; в-третьих, среди этой возрастающей апатии и для борьбы с нею» обновление «страшной машины, ослабевшей в 1792 г., машины общественного спасения и ее главной пружины, общества якобинцев» (VI, 20). Обо всем этом Мишле и говорит в шестом же томе, параллельно с процессом короля, но гораздо короче, чем о нем. О покупке народом земли, - о чем позднее возникла целая литература, - он говорит очень поверхностно на нескольких страницах (36-42): результат тот, что крестьянин не подумает больше о возвращении к старому порядку. Об общественной апатии горожан сказано тоже немного (стр. 42-50) и в чертах, напоминающих описание Парижа, в эпоху термидорианской реакции. Новому парижскому общественному направлению подчинялись почти все жирондисты. «От них, читаем мы на стр.51 шестого тома, не требовали, чтобы они делались роялистами, а само общество охотно шло в эту партию. Она мало-помалу становилась убежищем роялизма, защитною маской, под которою контрреволюция могла удержаться в Париже, в, присутствии самой революции. Денежные, банковые люди разделялись на жирондистов и якобинцев. Впрочем, переход от прежних мнений, бывших слишком известными, к республиканским, казался им более легким на стороне жирондистов». Сама эта партия, - которую объединял порыв войны (с Европой, с королем), объединяло действие, если не идеи, - стала дробиться на фракции, группы, даже котерии, прямо, наконец, расплыться (53). Слишком партия была пестра, люди из разных провинций, люди разных мнений (54). Среди них преобладал дух журналистов, беллетристов, легистов, «отчасти протестантский. Не было и объединяющих и авторитетных личностей, а отсюда отсутствие «инициативы, порядка, командования в решительные моменты» (57). Из разложения жирондистской партии, из признаков всей общественной дезорганизации Мишле выводил «необходимость якобинцев» (60). У них было, говорит он, «два качества, редко примиримые: моральная и политическая цензура, сила отрицательная, и революционная инициатива, сила положительная (61). Первая требовала ясного критерия, и у них была своя вера, но «без любви и вдохновения». Они были горячими адвокатами и яростными прокурорами революции. Она сначала требовала апостолов и пророков. При всем этом, спрашивает Мишле, кто станет отрицать безмерные услуги, оказанные ими отечеству» (63)? Толпа сначала медленно вступала на их дорогу, но «террор, страх перед якобинским отлучением, придавал силу этому обществу» (70). В 1793 году, в него вошло третье поколение: первым, по счету Мишле, было парламентарное и дворянское (Дюпор, Барнав, Ламет), второе, очень смешанное, из жирондистов, орлеанистов и пр., получивших разные места в управлении, а третьим был якобинизм Кутона, Сен-Жюста и др. вместе с Робеспьером, который преобладал уже во втором (84-85).

На первых порах после казни короля некоторое время в Конвенте царствовало согласие, которым Мишле прямо восхищается (VI, 284 и сл.). Причину последовавших раздоров он сводит к вопросу о единстве Франции. Специальная миссия Конвента состояла, по его мнению, в том, чтобы основать единство Франции (289). Вся характерная особенность 1792 года для него заключается в борьбе единства с федерализмом. Он бросает ретроспективный взгляд на историю с 1789 г., когда вся сила была в отдельных муниципалитетах и все были федералистами или роялистами. Иностранное нашествие поставило на очередь вопрос о республике единой и нераздельной. Жирондисты, говорит Мишле, ради единства готовы были сами идти на смерть, но «фатальность положения увлекла их в невольный федерализм (298). Директории департаментов, нотабли, богатые, все равнодушные в республиканской партии, скрытые роялисты, все называли, себя жирондистами... И вот, - продолжает историк, - жирондисты, два десятка адвокатов, литераторов, основатели республики, инициаторы великой войны, творцы колпака свободы, изготовители пик, они, которые вызвали десятое августа, двинули Францию на врага, - вот они, несчастные, объявляются, так ли, сяк ли, вождями богатых, вождями равнодушных, лицемерными патриотами, вождями всех, поддерживающих старые местные влияния против единства отечества». Единственным средством спасения для них, по мнению Мишле, было, «вырвать из рук Горы железо и направить его против своих ложных друзей», но «они предпочли погибнуть». Когда весной 1793 г. их оскорбляли, забрасывали грязью, плевали на них, у них «вырывались крики ярости, неосторожные призывы к мщению департаментов. И тогда думали, что их захватывают на месте преступления, более не сомневались, хотели их смерти, жаждали их крови» (299). По этому поводу Мишле замечает, что в своей «слепой, столь близкой к бешенству и эпилепсии ярости Гора не видела, что она каждую минуту впадала в политическую ересь, в которой упрекала своих противников», раз она сама хотела, чтобы всей Францией управляло насилие одного горда» да и в этом городе иногда становилась на стороне одной секции против целого (300).

Этому вопросу о единстве отечества посвящена первая глава X книги, начинающейся в середине шестого тома. Дальше внутренняя история революции все более уступает внешним событиям с той опасностью, какая в них заключалась. Все больше в этой части своего труда Мишле видит во всем происходящем своего рода фатум. Переиздавая в шестидесятых годах свою историю революции, он предпослал VII ее тому «предисловие о терроре», помеченное 1 января 1869 г., где говорит, что новые документы, обнародованные в данный промежуток времени, его только утвердили в его прежнем взгляде. «Это время было диктатурой» (т.VII, стр. I). Здесь Мишле сопоставляет Робеспьера с Бонапартом, видя сходство между ними в том, что «в создавшей их среде они нашли вполне готовыми их орудия действия. Им ничего не было создавать. Обязательная фортуна дала им в руки машины (ужасные электрические машины), которыми они должны были орудовать. Робеспьер сразу же застал якобинскую ассоциацию из трехсот, шестисот, потом трех тысяч якобинских обществ, большую полицейскую армию, которая сорока тысячами комитетов управляла, защитила и раздавила Францию (стр.II)... Важный приговор Робеспьеру читаем немного дальше: роялисты имели к нему некоторую слабость. Они ругали, оплевывали Жиронду, Гору, Дантона, Шометта. Перед Робеспьером они замолчали. Они видели, что он любил порядок, что он оказывал покровительство церкви, и предположили, что у него была душа короля. Его историю Мишле находит более удивительной, чем историю Бонапарта. «В ней менее видны нити и колеса, бывшие уже готовыми силы. То, что видно, это - человек, маленький адвокат, прежде всего литератор (и он им был до самой смерти). Это человек честный и строгий, но с бесцветным талантом, который в одно утро видит себя вознесенным не знаю на какую высоту. В одно время он идет выше, чем на трон. Его ставят на алтарь» (стр.III). «Его ум производил мало, у него было немного изобретательности. С большим количеством идей он бесконечно менее преуспел бы. Он был в одну меру с широкой публикой, ни выше, ни ниже». Историк имеет здесь в виду общий якобинский тип. «Против старых каст, тогда еще сильных, нужна была каста суровая, беспокойная. Нужна была мужественная полиция которая отмечала бы, указывала бы, обуздывала бы особенно дерзких и сильных врагов» (III). В таком тоне написано все предисловие, в подзаголовке которого очень крупными буквами набрано слово «Тиран».

В каком духе рассматривает Мишле эпоху террора, понятно само собой. Он с мельчайшими подробностями следит за борьбой партий в Конвенте, за тем, что делалось в Париже, Коммуне, у якобинцев и у кордельеров, в секциях, в провинциях, на границах государства, прерывая полное драматизма повествование короткими размышлениями. Так, по поводу учреждения революционного суда он пишет: «армия была демобилизована, казна пуста. Одна сила оставалась во Франции: революционное правосудие. Вся цена, его была в листе бумаги. Потом еще в сердце самой Франции. В смерти основателей республики, лучших друзей отечества, в головах Дантона, Верньо, в крови и голосовавших и за, и против, тех, которые представляли протест во имя Закона, и тех, которые были необходимостью» (VI, 882).

В одном месте VII тома (стр. 107) указав на то, что, «стараясь отдать самую скрупулезную справедливость Жиронде и Горе, хваля и порицая, смотря по их различным поступкам, изо дня в день и из часа в час» (что и было на самом деле), Мишле позволяет читателю спросить его, где он сам сидел бы в Конвенте. Вопрос действительно интересный. Мишле отвечает, что был бы монтаньяром, но никак не якобинцем, потому что были же монтаньяры, которые не состояли в якобинцах, и была такие, которые, как дантонисты, нося это имя, не имели якобинского духа, а именно, как он его определяет, «духа инквизиторского, корпоративного, священнического, или маккиавелизма, соединенного с насилием». Якобинцы, конечно, помогли победить врагов, но еще больше они увеличили их число. Они «предприняли чистку всей Франции, арестовывая всех подозрительным, и через пятнадцать месяцев их царствования вся Франция оказалась подозрительною». Почему же, можем спросить мы, Мишле не захотел бы быть вместе с жирондистами, которых он неоднократно восхваляет? Его ответ мы находим в указании на то, что он называет важным их недостаток. К удивлению читателя, терпимость, - к удивлению, потому что сам Мишле - воплощенный протест против террора. «Правда, - говорит он, - Жиронда вотировала суровые законы, но отказывала в средствах их исполнения. Она объявила всеобщую войну, революционный крестовый поход и освобождение всего света; в этом отношении она была законной истолковательницей Франции и оказались более великодушной, чем якобинцы, и более политической» (VII, 107), но она поощряла своим красноречивым протестом молчаливое сопротивление и рассчитанное бездействие департаментских властей, всему мешавших. Да, - заключает Мишле, - несмотря на мою симпатию к духу великодушного милосердия, который они хотели сохранить за революцией, я подал бы голос против них» (VII, 109). Он обвиняет их еще в том, что они, «превосходные республиканцы, чистые и лояльные», не отмежевались достаточно от роялистов, сделавшись для них «щитом и маской». И вот, прибавляет он, хотя «Жиронда была изгнана из Конвента средствами недостойными, подлыми, мы ограничились бы протестом против этого изгнания, но не нарушили бы единства Горы (VII, 110). Великий поступок в защиту жирондистов был бы нанесением удара республике, но все-таки их единственное преступление Мишле видит, в том, что к жирондистам примыкали роялисты, отнюдь не в остальном, в чем их обвиняли якобинцы (111). Что это партия была невинна, Мишле повторяет неоднократно (напр., 181).

Бессильная, слепая политика жирондистов, также неоднократно повторяет Мишле, погубила бы Францию, но как раз те самые якобинцы, среди которых он не хотел бы быть, были в его глазах единственною организованною силою. Мишле высокого мнения о Конвенте, даже после двух ударов, ему нанесенных 31 мая и 9 термидора. До и после Конвент наделяет Францию множеством учреждений. Все последующие правления на него опираются, проклиная его, послушно ссылаются на его законы, пользуются тем, что он создал, вопреки самим себе признавая суверенное величество Собрания, которое, основывая, организуя более, чем какая либо человеческая сила, представляло неистощимое плодородие природы» (VII, 185). Но дело в том, что, «издавая законы для всей Франции, Конвент не осмелился бы, однако, послать приказ генералу Анрио», начальнику национальной гвардии (198). Настоящего правительства не было; за власть боролись Коммуна, центральный резервационный комитет и революционные комитеты секций, документы которых Мишле имел в руках в архивах. Конвент более всего был занят, после изгнания жирондистов, составлением новой конституции, которую Мишле ставит очень высоко по некоторым ее принципам (209 и сл.), хотя подробно ее не анализирует, как это было сделано ими по отношению к конституции 1791 г. Нередко, рассказывая сложную, весьма запутанную, для него самого таинственную историю 1793 г., Мишле делает предположение, что было бы, если бы..., как это мы видели это и по отношению к жирондистам. Одно подобное соображение касается убийства Марата. Не убей его [Шарлотта Корде](#), «на крови которой, как выражается автор, основалась религия кинжала» (и даже со ссылкой на пушкинскую оду, VII, 341), не были бы казнены Дантон и Демулен, которых он защитил бы, а это, в свою очередь, спасло бы и Робеспьера, не было бы термидора с его внезапной и убийственной реакцией (VIII, 21). Марат в июле 1793 г. «был уже другой человек, непримиримо преследовавший других Маратов, вступавший в свой период снисходительности, хотя для самого Мишле еще вопрос, сохранил ли бы Марат свою популярность в новой роли (VII, 315-316). Смерть Марата, все-таки думает Мишле, ухудшила положение, потому что его сменил [Эбер](#) (III, 22), вождь анархистов и владык Коммуны. С этого момента название эбертистов, к которым Мишле относится с презрением, все чаще и чаще мелькает на страницах его труда.

Мы подходим к тому периоду революции, который не может не быть особенно интересным с основной точки зрения Мишле. Революция кончилась неудачей потому, говорит он, что ей для упрочения не хватало революции религиозной, социальной, где она нашла бы свою поддержку, свою силу, свое углубление (VIII, 159). Целой главе (первой в книги XIV) он дает название: «Революция была ничто без религиозной революции». Жирондисты и якобинцы оказались одинаково бессильными что-либо сделать в этом отношении. Что-то такое шло от кордельеров, черным ангелом которых, злым духом был Эбер, белым ангелом, добрым духом [Клоотц](#), а между ними [Шометт](#) (VIII, 184-185), но у Мишле здесь все как-то отрывочно, полно только намеков, мало вразумительно, лирично и риторично.

Историка тут даже покидает ясность мысли, и не всегда понимаешь, что же он хотел сказать, когда по поводу республиканского календаря писал, что «земля в первый раз ответила небу, в оборотах времени, и «человек увидел разумность на небе и разумность здесь», или когда читаем следующие за этими рассуждения о Мудрости (Логосе или Слове) и т.п. (стр.175). В рассказе Мишле о так теперь называемой «дехристианизации» Франции остаются факты, бывшие известными раньше, но отчасти и впервые опубликованные историком на основании архивных документов. Из отдельных замечаний автора приведу его отзыв о празднике Разума 10 ноября 1793 г. «скромная церемония, печальная, сухая, скучная», да и как это могло быть «истинным культом революции», когда сама она была уже стара и утомлена, слишком стара, чтобы рожать». Культ Разума, «этот холодный опыт 1793 года, вышел не из ее горячей груди, а из резонерских школ времен Энциклопедии», не этого требовали «сердца и необходимость момента» (VIII, 195). Не более благосклонен был Мишле и к [робеспьеровскому Верховному Существо](#). «Идея бога плодотворна, говорит он, когда она вырывается из сердца, когда эта идея чувствуется в своей жизненной сущности, которая есть Справедливость. Слово «бог» само бесплодно: отвлеченность, звук, схоластическая и грамматическая форма; если это - все, оставьте всякую надежду. Как Верховное Существо т.е. как политический нейтралитет между революцией и христианством, между справедливостью и благодатью, это - само бесплодие и пустота (IX, 89).

Но и католицизм, по мнению Мишле, не должен был бы оставаться: «жизнь католицизма, - читаем мы на стр. 202 восьмого тома, - это - смерть республики. Свобода католицизма в республиканском правлении, это единственно и просто - свобода заговорщичества. Система или какое либо существо, обязаны ли они во имя свободы оставить свободу тому, что должно необходимо их убить? Нет, природа не возлагает ни на кого обязанности самоубийства».

Рядом с религиозной революцией, которая нужна была, по мнению Мишле, он ставил, как мы видим, и революцию социальную, но эта сторона дела еще менее ясна у нашего историка. Да и соответственного этому фактического исторического материала в труде Мишле не имеется. До [Бабефа](#) в своей истории французской революции он не дошел, а если кое-где упоминает, напр., о [Жаке Ру](#), то совсем на этой фигуре не останавливается.

Конечно, в историческое познание французской революции Мишле внес много нового: в его распоряжении был богатейший архивный материал, на который он время от времени ссылается. Между прочим, в его руках были, документы [парижских секций](#), игравших такую роль в [народной революции с 1792 г.](#), но он мало интересуется самими секциями, их организацией, их внутренним бытом. Все-таки на первом плане у Мишле события, а не быт, прагматика, а не культура. Особенно подробен он в истории Конвента вообще, и в частности для эпохи после изгнания жирондистов, с которого начинается период революционного самоистребления, когда, вместо широких волн, на поверхности политической жизни была только более мелкая рябь столкновений между даже не партиями, а котериями, между отдельными лицами. Эти мелочные дразги даже становятся малоинтересными». Народ, как главный герой революции у Мишле, здесь ступшевывается, и чаще появляется вместо него, простая толпа». Рассказав, как был казнен Робеспьер (здесь уже названный «великим человеком») и с ним еще двадцать человек, Мишле прибавляет: «Двадцать один казненный, этого было мало для толпы. Она ощущала жажду, ей нужно было крови. На другой день ее потчевали всюю кровью Коммуны, семьдесят голов сразу! А в виде десерта на этом банкете двенадцать голов на третий день» (IX, 350). В том, что происходило на улицах в день казни Робеспьера, Мишле готов как будто видеть «первые сцены белого террора» (348), но был ли то террор белый, или красный, толпа в нем принимала большое участие.

Позднее, уже после падения второй империи и под впечатлением событий Коммуны 1871 года, Мишле дорассказал, но уже во много раз короче, историю революции в своей «Истории XIX века». Здесь историк, «родившийся, как он говорит о себе в предисловии, во время террора Бабёфа и увидевший перед смертью террор Интернационала», - прямо начинает свое изложение заголовками: «якобинство кончается, начинается социализм». Мы, однако, здесь не последуем за Мишле. Он сам остановил историю революции на 1794 годе, да и прошло два десятка лет между обоими трудами Мишле, более полным и ярким прежним и более слабым и бледным вторым.

Сравнивая Мишле с его предшественниками, не столько, впрочем, с Минье, очень коротким, сколько с Тьером, рассказывающим все подробно, видишь большую разницу. Насколько Мишле разносторонне, богаче содержанием, шире в захвате, глубже в проникновении в суть дела, тоньше в анализе, ярче в изображении, вместе с тем оригинальнее, индивидуальнее, но зато и субъективнее в своем переживании событий, нежели объективный, бесстрастный, холодный, спокойный Тьер. Чтение истории Мишле более захватывает и даже волнует, и чаще при этом приходится не просто воспринимать, а соглашаться вместе с тем или не соглашаться с суждениями автора о событиях, идеях и людях, соглашаться или не соглашаться и с его теорией, тогда как у Тьера, собственно говоря, подобной теории, своей, так сказать, философии истории не было. Мишле везде оценивает и поучает, прикидывает ко всему мерку своих принципов и высказывает при этом нравственные сентенции. Он был, конечно много учнее Тьера и, как историк, пользовался более надежным материалом, относился к источникам с большей критикой, но был, пожалуй, дальше, чем Тьер от строгой научности, проходя равнодушно мимо многого, что теперь вызывает в историке

любопытность, если только это ничего не говорит воображению. Можно сказать, что Тьер больше протоколист, Мишле - импрессионист, и что действительность, проходя через приему его субъективности, воспроизводится скорее художественно, нежели научно. У Мишле более образности и красочности во всем, даже в способе выразить свои впечатления и мысли. Поэтому его взгляды труднее передавать своими словами, да и как-то невольно хочется, передавая содержание его труда, приводить побольше собственных слов историка. На труде Мишле отразилась, однако, не только его более принципиально настроенная нравственная физиономия, столь отличная от психики более оппортунистически настроенного Тьера, но и другая эпоха, смена буржуазного либерализма демократическим радикализмом, вдобавок, очень антиклерикальным. Наконец, и в том отношении Мишле ушел от Тьера, что, будучи его ровесником и имевши возможность в молодости самому пользоваться рассказами современников революции (на какие он иногда и ссылается), он понял, что не в их показаниях и особенно не в мемуарах нужно искать исторического материала, даже не в том, что печаталось во время самой революции, а в деловых архивных документах, порождавшихся самым течением жизни. О мемуарах при случае Мишле иногда высказывается с излишним пренебрежением, а «Монитор», например, прямо он обвиняет в тенденциозном искажении фактов.

Считаем не лишним отметить взгляд Мишле на историю французской революции Карлейля. Когда один автор (Vaperau) в своей статье о французском переводе книги [Карлейля](#), указал на большое сходство между нею и трудом Мишле последний написал этому автору в 1868 году письмо (бывшее потом опубликованным впервые только в 1907 г., где назвал книгу Карлейля сочинением фантастическим, жалким, без всякого изучения предмета, с совершенно фальшивым освещением». Мишле даже был как бы обижен могущим возникнуть подозрением, будто он вдохновлялся Карлейлем. Большой знаток биографии Мишле, Monod, говорит, что он и не читал Карлейля до появления французского перевода. Дело не в том, однако, а в совершенной несправедливости приговора Мишле над Карлейлем, которого, напр., [Олар](#) ставит очень для своего времени высоко, именно как ученого, глубоко изучившего свой предмет и верно судившего.